

ДВЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ КАСТРЮЛЬКИ И ЧАЙНИК ДЛЯ ЭКСТРЕМИСТОВ

Телефон зазвонил около шести утра. В трубке щелкало и свистело: связь в Дзержинске из рук вон плохая, да и телефон у меня был тот еще. «Кирилл, – сквозь шумы и хрипы голос Елькина был малоузнаваем, – мы вселились. Адрес запиши. На Чапаева... Не знаю, где это. Трамвай тут ходит. Нам бумага туалетная нужна, скотч, мыло... Принеси, а? Сейчас сможешь?» За окном – февральская сырая темень, вязкий туман оттепели. «Да, да, конечно!» – я схватил ручку и лихорадочно принялся записывать: бумага, мыло, зубные щетки (блин, вот уж щетки-то могли бы привезти с собой!)...

«Это Елькин был, – сказал я жене, лихорадочно натягивая джинсы. – У нас мыло лишнее есть?» Глупый вопрос на самом деле. Откуда бы ему взяться, лишнему мылу? Светка снисходительно наблюдала, как я скачу, запутавшись в штанинах. «Ты когда вернешься?» – «Я скоренько. Туда-обратно. Слушай, а Чапаева – это где?» Жена отлично представляла улицу Чапаева и к заверениям о скором возвращении отнеслась скептически: «Дверь тихо открывай, когда придешь. Сашка спать будет».

Выскочив из подъезда, я зачавкал по оттаявшему в кашу снегу к ближайшему магазину. Возбуждение не давало идти – неся вприпрыжку. Эти выборы были для меня как подарок.

Иллюзий у меня не было никаких. Мы должны были проиграть с треском. И дело даже не в наших жалких возможностях. Просто для таких, как мы, победа не предусмотрена в принципе. Не в этой жизни. В этой мы обречены проигрывать. Но...

Депрессивный город Дзержинск. «И как же тебя занесло сюда?» – «Да так вот уж как-то получилось...» Жена, дочь, которая улыбается и умильно лопочет что-то на своем младенческом языке. Перспективы туманные. Попросту говоря, никаких перспектив. Жизнь на нервах. Постоянные поиски твердого заработка, приработка, хоть каких-нибудь денег. Безднадега и сосущая тоска. Мертвое время в умирающем городе.

И тут вдруг эти выборы. Черт побери, в мире что-то происходит! Какое-то движение, новые люди. Все мгновенно оживилось. И даже в сером дзержинском небе проглянула синева. Предчувствие неизбежного поражения я постарался задвинуть подальше. Не хотелось портить праздник.

Разумеется, не думать об этом вовсе не получалось. Пару раз я даже заводил какие-то такие разговоры с Елькиным. Явно неуместные разговоры. Он заставлял себя верить в победу, загонял себя в состояние драматического фанатизма: «Ставки слишком высоки! Мы проиграть не можем!» Дима боролся за освобождение из тюрьмы вождя.

Нырнув в семейную жизнь, связь с нацболами я практически утратил. И потому эпопея со вторжением в Казахстан прошла мимо меня.

Как-то на вокзале в толпе меня узнал мужичонка, торгующий маргинальными оппозиционными газетками. Жалкий, потрепанный персонаж, он подобрался ко мне и, опасливо кося глазами по сторонам, забормотал: «Молодой человек, поймите, от Эдуарда нужно сейчас держаться подальше. Он решил поиграть в Мисиму. Явно нарывается на пулю. И вас за собой потащит». Я даже не понял, о чем это он.

Политическая тусовка бурлила: «Лимонов готовит партизанскую войну». Националисты радостно анонсировали предстоящую экспедицию в своих газетах. По студенческим общагам шла вербовка добровольцев. Похоже, только я один был не в курсе.

Я бегал в поисках работы. Электричка, автобус. Дзержинск – Нижний Новгород, Нижний – Дзержинск. И так до бесконечности. Все без толку. Неудачи преследовали меня одна за другой. «Пора уже научиться устраиваться в жизни». Да, пора. Но я так и не смог научиться.

В летнем душном нижегородском автобусе я встретил Елькина. Мы перебросились парой фраз.

– Какое-то говно сплошное, Дима.

– Вот поверь мне, скоро все изменится.

– Вот уж не знаю.

– Я не могу ничего говорить, но поверь. Скоро. Обещаю.

Я не поверил. Перемен к лучшему не бывает – я это давно усвоил.

Я умудрился прозевать все: и покупку автоматов у подставных людей из конторы, и начавшиеся посадки. Даже об аресте Лимонова узнал с опозданием месяца на два.

По одному из центральных каналов показали оперативную съемку задержания где-то в Алтайских горах лимоновской группы, она же национал-большевистская армия. Здоровенные мужичищи в камуфляже и с автоматами картинно крались между сугробов к маленькой избушке, врывались, вышвыривали в снег пяток перепуганных пацанов и следом выволакивали самого Лимонова. Невысокий на самом деле, метр с кепкой, на фоне своего тщедушного воинства Лимонов смотрелся настоящим медведем. Его толкнули в общую группу. Он затравленно заозирался и совершенно по-мальчишески втянул голову в плечи в ожидании очередной затрецины. Был он комичен и жалок.

Рядом с ним, широко расставив ноги, стоял – как и все, руки за голову – парень в сиреневых кальсонах и нательной фуфайке. Все прочие были какие-то серые и блеклые, а он выделялся ярким пятном. Вот он выглядел достойно. Единственный из всех стоял прямо. Его принуждали согнуться, лупили в спину прикладами. Он качался под ударами, но стоял. Остальные были всего лишь мальчишками, по глупости угодившими в скверную историю. И только он один был похож на солдата,

попавшего в плен. На меня это произвело сильное впечатление. Я специально потом узнавал его имя. Парня звали Алексей Голубович.

Лимонов приземлился в Лефортове и тут же принялся писать. Книжки, статьи, послания президенту. Все в невообразимых просто количествах. О себе он писал (не без гордости, надо полагать): «Я революционер, захваченный в плен». Но выглядеть при этом стремился невинной жертвой системы. Два эти образа совмещались плохо, но его это нисколько не смущало.

Общественность не знала, как реагировать. План завоевания Казахстана выглядел дичайшим абсурдом. Поверить, что все это затевалось всерьез, было просто невозможно. По телевизору намекали, что в лимоновской аванюре планировалось участие знаменитого французского солдата удачи Боба Денара. Но это только добавляло абсурда.

Был затеян сбор подписей в защиту известного писателя, пострадавшего от произвола спецслужб. Подписи, впрочем, собирались как-то вяло.

Кто-то, кажется, скульптор Шемякин, осмелился поговорить о судьбе Лимонова с самим Путиным. Путин отвечал в духе: следствие разберется.

Следствие шло. Лимонов сидел. И срок ему светил огромный.

И тут как раз в Дзержинске случились досрочные выборы в Думу. План был прост и безумен. Кандидатура Лимонова выдвигается на выборы. Нацболы выборы выигрывают. Лимонов получает депутатскую неприкосновенность. Двери тюрьмы распахиваются. Свобода встречает радостно у входа.

Все. Цели определены, задачи поставлены. За работу, товарищи!

Не знаю, где и как Елькин добыл мой номер. Его ночной звонок был полной неожиданностью.

– Кирилл, встретить нас завтра на вокзале в одиннадцать. Ты нам нужен.

– На вокзале в Дзержинске? – Я был удивлен. Что могло понадобиться нацболам в нашей дыре?

– Ну да, да.

– А что такое?

Так я узнал, что мы участвуем в выборах.

На следующий день я влетел в здание вокзала ровно в одиннадцать. Ни на минуту не опоздал против обыкновения. Зато опоздали нацболы.

Обычно полупустой, а то и вовсе пустой дзержинский вокзал был битком набит. Какие-то солдаты с коробками, рыдающие тетки, пьяные мужики. Надо было бы пристроиться у стенки где-нибудь в уголке и стоять себе спокойненько. Но я беспокоился, что Елькин меня не найдет, и принялся бродить в толпе, высматривая знакомые лица.

У нас если люди собираются в толпу, сразу начинается какая-то непонятная борьба. Вот вроде они просто стоят и чего-то ждут, не надо никуда лезть, не надо проталкиваться вперед. Но они все равно пихаются, стараются достать локтем каждого, кто оказался рядом, переругиваются. Без всякой цели, из одного угрюмого удовольствия. Постоянно приходится уворачиваться и отдергивать ноги, чтобы совсем не оттоптали.

Разумеется, Елькина я проглядел. Минут, наверное, пятнадцать мы кружили по залу, пока не столкнулись нос к носу. Елькин и с ним стайка каких-то мальчиков и девочек, московские товарищи.

«Где тут у вас Сбербанк?» Да откуда ж мне знать, где тут у *них* Сбербанк! «Ты ж здесь живешь». Ну, живу, но в банк-то не хожу. Зачем мне?

Чтобы зарегистрировать кандидата, нужно собрать подписи или внести залог. Но на сбор подписей времени уже не остается: сегодня последний день регистрации. В общем, все как всегда.

У Елькина выписан на бумажку адрес. Банк, оказывается, от вокзала в двух шагах.

«Сейчас Тишин деньги привезет». Стоим, ждем, когда Тишин привезет деньги. С неба падает снежок. Нацболы веселятся. Какие-то они карнавальные. Мальчики в огромных клоунских ботинках, девчонка с малиновыми волосами. Оживленно жестикулируют, смеются, на революционеров совсем не похожи. Дети.

И только у Елькина суровая физиономия. Он мерзнет в своих дражных армейских ботинках и тощей куртейке.

– Ну, и где же ваш Тишин?

– Два часа назад выехал из Москвы. На машине.

Суббота – у банка сокращенный рабочий день. «Толя звонит. Они только что Владимир проехали». Снег начинает валить крупными хлопьями.

Ухожу домой греться и пить чай. Нацболов с собой не зову, чтобы не напрягать жену.

Едва я успеваю снять ботинки, звонит телефон. Елькин срочно зовет обратно. Деньги приехали. Ковыляю к банку.

Тишин, нервно подергиваясь, раздает указания по заполнению платежек. Почему-то он кажется очень знакомым, хотя абсолютно точно раньше я с ним не встречался. Борода, проплешины, морщины. Первое взрослое лицо, увиденное мной среди нацболов. Но чем-то Тишин похож на этих мальчиков и девочек, какое-то клеймо стоит, которое сразу его выдает. Смотрю на него и вдруг понимаю: у него абсолютно безумный взгляд. Чистое, незамутненное, лихорадочное какое-то безумие.

В банке, как всегда, полно народу, душно и нервно. Заполняю бланк. Ручка отказывается писать, царапает бумагу. Тоже, впрочем, как всегда.

Обнаруживается новая неприятность. Каждый желающий внести залог за кандидата может заплатить только строго ограниченную сумму. Деньги есть, а вот людей не хватает. «Что ж ты так мало народу привез, Дима?»

Час до закрытия банка. «Найди нам кого-нибудь, Кирилл!» Кого я найду в этом чужом городе? Меня впервые посещает мысль, что выборы нам не выиграть. Ни за что.

На машине, которая привезла Тишина и деньги, еду домой. Врываюсь в квартиру. Мгновенно определив по жестам и интонации первых слов, что я собираюсь ее о чем-то просить, жена напрягается и говорит: «Нет». Но потом все-таки дает себя уговорить, добрая душа.

Светка отбывает в банк сделать вклад в нашу победу, а я остаюсь с ребенком. Бегаю из угла в угол, из комнаты в комнату, на кухню, в туалет, наворачиваю круги, грызу ногти. Сашка сидит на ковре и смотрит с явным осуждением.

Часом позже тетка из избирательной комиссии просматривает принесенные нами документы. Ей явно не по себе от того, что в комнату набилось столько странных молодых людей. Тишин сидит напротив, боком втиснувшись в кресло и по-прежнему нервно дергая ногой. Тетка ведет себя на редкость доброжелательно и вежливо.

– А вот ваш кандидат, он правда в тюрьме?

– Суд еще не состоялся, и вина не доказана.

– Ну и как же вы тут без него?

Тишин усмехается:

– Когда меня в Москве на выборах выдвигали, я вообще сидел в тюрьме на Украине.

И я вспоминаю. Точно! Тишин был среди тех, которые забаррикадировались в какой-то башне в Севастополе и вывесили нацбольский флаг. Крупный тогда получился скандал. И о выборах я тоже читал в «Лимонке». Они там еще для тишинской кампании замечательный лозунг изобрели: «Анатолий Тишин – работник морга. Подумай о будущем!»

Тетка умудряется не сбиться с доброжелательного тона: «Ну, что же Документы в порядке. Поздравляю вас. Приходите на вручение удостоверений кандидатов».

Выходим на улицу, топчемся на крыльце городской администрации. Бестолковая маета дня доконала всех. «Толя, – говорит Елькин, – скажи что-нибудь людям». И Тишин начинает ораторствовать о партийном единстве и большой семье НБП. Прямо здесь же, на крыльце. Мастерски делает, надо признать. Питерские нацболы, смоленские нацболы, хрен знает какие еще нацболы... Сгрудившиеся вокруг него мальчишки оживляются.

И тут я понимаю, что мне неинтересно. Я тут, кажется, единственный, кто еще не слышал этих речей. Но мне и не хочется. Ни про отделения партии с правым уклоном не хочется, ни про отделения с левым. Хочется жрать, хочется домой. И вообще я устал как собака.

Осознав это, огорчаюсь. В очередной раз оказался я не холоден и не горяч. Ну и черт с ним!

День вручения удостоверений. Большой зал, заполненный мужиками в костюмах и при галстуках. Мужики в основном безобразные, раздувшиеся, брюхатые и красномордые. Костюмы и галстуки по большей части дорогие. Хотя, впрочем, я в этом не разбираюсь.

К мужикам жмутся немногочисленные тетки. Все как одна в возрасте, не позволяющем уже рассматривать их в качестве сексуального объекта. И все как одна зачем-то с цветами. Такое впечатление, что они собрались их возлагать на чью-то могилу.

Из нацболов – один Елькин. Когда объявляют, что представитель кандидата Лимонова может получить удостоверение, Елькин поднимается и, шаркая стоптанными армейскими ботинками, движется к комиссии. Сгорбленная фигура в потертых джинсах и линялой футболке.

В зале воцаряется мертвая тишина. Слышно, как зады некрасивых теток и безобразных мужиков ерзают на стульях. Одна из теток громким шепотом на весь зал вопрошает: «Кто это?» В голосе – изумление и брезгливость. Потом вдруг кто-то спохватывается и для соблюдения приличия начинает хлопать. Предыдущим кандидатам хлопали. Когда Елькину вручают удостоверение и председатель комиссии пожимает ему руку, хлопают уже все.

«Молодой человек, вы с *этим*?» – склоняется ко мне один из обладателей пиджака и галстука. Ну, догадаться было нетрудно. «А вот скажите: чего вы хотите?» И какого ответа ты ждешь, урод? «Хотим выиграть выборы». Смотрит на меня, как на идиота.

Чего мы хотим? Чего я хочу? Хочу, чтобы мы все-таки победили. Чтобы вы, мерзкие жирные твари, передохли в один прекрасный день все, а нам бы удалось вас пережить. И Лимонов тут вовсе ни при чем.

Подходит Елькин: «Вот нацболы... блин... могли бы и подъехать». Я его понимаю. Всегда хочется как можно больше доброжелательных глаз. А тут – один я, как верный Иоанн.

Потом мы долго гуляем по улице. Говорим о партии. О чем еще можно разговаривать? «Мы – последняя надежда страны. Никто тут ничего не сможет, только мы. И потому партия – это все. Иначе никак. Вот знаешь, если партия, например, запретит нам общаться, придется с тобой не разговаривать».

Пинаю ледышку. Господи, Дима, сколько ж усилий тебе приходится прикладывать, чтобы быть таким фанатичным. Ведь неглупый же человек...

Две с лишним недели безуспешных попыток найти квартиру для людей, которые приедут работать на выборах. Представить не мог, что это будет так непросто. Город вымирает – парочка пустующих квартир есть почти в любом подъезде. Но на все уже наложили лапу агентства недвижимости, цены заломили запредельные. С хозяином квартиры можно попытаться договориться, с агентством – бесполезно. Елькин считает, что тут не обошлось без вмешательства Конторы (нацболы, как я заметил, вообще склонны поминать Контору при каждом пролете). Но, по-моему, это он зря. Конторе нет нужды вмешиваться, когда есть жадные риелторы.

Но вот, наконец, квартира снята.

Закупившись по списку в магазине, отправляюсь на поиски улицы Чапаева. Пересекаю освещенную редкими фонарями площадь Ленина и углубляюсь в неосвещенные вовсе двory. Дворники в городе уже, кажется, лет пять как перевелись вовсе. Лед не скалывается даже на улицах, не то что во дворах. Скольжу, падаю, вновь скольжу, рискуя свалиться в очередную рытвину. Наступив в глубокую лужу, матерюсь. Но об осторожности не забываю – матерюсь шепотом. Мало ли кто может выйти из темноты на мой голос. Сапог хлюпает.

Трехэтажный барак, даже в темноте видно, какой он обшарпанный. Кажется, это и есть тот самый дом, хотя намалеванный на стене номер распознается с трудом.

Квартира на третьем этаже. Исцарапанная дверь без обивки, звонка нет. Руки заняты пакетами – пинаю дверь ногой. Мгновенно распахивается дверь напротив, у меня за спиной. Поставленный голос профессиональной скандалистки заводит: «Нельзя ли потише! Люди уже спят, между прочим!» Неопрятная бабища неопределенного возраста. Спишь ты, сука? Под дверью сидела, караулила. «Извините», – говорю ей, но она только сильнее распаляется. Упускать представившийся шанс поскандалить она не намерена – продолжает громко вопить и браниться даже после того, как меня впускают в квартиру. Потом от избытка чувств подскакивает к закрывшейся за мной двери и тоже ее пинает. Дверь сотрясается от ударов.

«Слон», – представился парнишка, который запустил меня в квартиру. Маленький, худенький, чернявый, виски выбриты.

Оглядываюсь. Классический клоповник, причем, скорее всего, в самом буквальном смысле. Жутко представить, какая колония кровососов может обитать в этих фанерных стенах. Узкий коридор, две комнатухи с низкими потолками. По улице громыхает трамвай. Оконные стекла мелко и очень противно дребезжат.

Даже десятку человек здесь будет очень тесно. А Елькин говорит, что народу приедет гораздо больше. Но пока их всего трое. Кроме Слона и Елькина еще один здоровый мордатый детина со смешной фамилией Коноплев. Он громко и радостно строит планы трахнуть какую-то особу. «Давненько. Давненько я ее», – говорит он. Елькин в ответ криво усмехается.

Пожав мне руку, Коноплев тут же надевает маску крутого специалиста по выборным технологиям: «Ты ведь здесь живешь? Ну, какие тут настроения в городе? Вообще что можешь рассказать?» Не знаю на самом деле, что он хочет от меня услышать.

Про кошмарную геометрическую выверенность дзержинских улиц? Про мусор, который везде: в каждом дворе, на каждом бульваре, вдоль каждого шоссе? Про деревья, прорастающие сквозь крыши заброшенных корпусов в промзоне? Про трубы в той же промзоне рядом с линией железной дороги? Раньше из них валил густой зеленоватый дым. Теперь не валит. И непонятно на самом деле, что хуже.

За окном громыкает очередной трамвай. Потом еще один и еще один почти без перерыва. На редкость интенсивное движение. Ехали по улице трамваи... Стекла дребезжат, не переставая.

Вот, кстати. Мне ведь здесь, в Дзержинске, довелось увидеть лобовое столкновение трамваев. Честное слово. Если пытаться как-то рассказать, что тут вообще творится, это будет самое лучшее описание. Лобовое столкновение трамваев. Впрочем, по всей стране примерно то же самое...

Люди. Разочек прокатиться с ними на утренней рабочей электричке, потолкаться в тамбуре, увидеть их глаза – все станет понятно. Это даже не те пустые и выпуклые глаза, о которых писал блаженный Веничка. Это куда более выразительные глаза. Они не выражают ничего. Полная пустота. Полнейшая. И космический холод.

Чего хотят люди с таким взглядом? Что их заботит? Уж точно не странное желание каких-то мальчишек во что бы то ни стало вытащить из тюряги сбрендившего писателя.

Разговор сам собой переключается на вождя. В «Лимонке» как раз начали публиковать серию его тюремных статей. Из какого-то непонятного снобизма это называется «серия лекций». Обычный набор скучнейших банальностей, выдаваемых за гениальные озарения: упраздним семью, разрушим школу, придумаем себе Нового Бога.

Почему-то мы относимся к этой писанине крайне серьезно. И дело даже не в том, что нам предстоит убеждать избирателей, что человек, написавший вот это, – серьезный и достойный кандидат.

Я горячусь:

– А я вот не хочу жить никакой кочевой коммуной. И вообще, вот чего это? «Будем окружать деревни, прыгать с вертолета и жарить мясо на углях». Это политическая программа такая?

– Да нормально все, Кирилл, – Елькину хочется защитить вождя, но он не может найти нужных слов. – А таким, как ты, мы подарим Касталию. Хочешь Касталию?

Добрый Дима, ничего ему не жалко...

Отправляюсь отлить. Туалет приводит меня в замешательство. Узкий закуток – протиснуться можно только боком, скособочившись над унитазом. А ведь я еще худощав. Каково будет вон Коноплеву тому же с его широченными плечами! В ванную я даже не рискнул заглянуть. Руки мыть пошел на кухню.

На кухне наболбы собираются попить чайку. Коноплев ставит на плиту маленькую кастрюльку. Я в такой варю по утрам яйца, если они есть. «Вот, блин, без чайника хрень какая». «Да вообще ни одной кастрюли нет нормальной», – подхватывает Елкин.

«Есть! Есть у меня лишние кастрюли! – неожиданно вспоминаю я. – И чайник, кажется, был». На прошлый день рождения мать сделала мне

странный подарок: набор основательных кастрюль и чайник. «Для семьи». Хотя моя семья недостатка в кастрюлях не испытывала.

Я, пока пер тяжеленные матушкины кастрюли в электричке, порвал два пакета. Проклял все, приехав, свалил их в кладовку. И вот вдруг оказалось, что они могут пригодиться.

«Слон, сходишь?» – спрашивает Елькин. Слон покорно идет одеваться.

Выскакиваем с ним на улицу. Около подъезда стоит машина, из открытого окна доносятся голоса. Слон толкает меня локтем: «Контора! Пишет!» Я бы и не сообразил, и не заметил. Но точно: голос Коноплева – он вновь озабочен тем, сколько раз успеет трахнуть свою барышню, что-то ему отвечает Елькин. Действительно, прослушка. И ведь даже не скрываются.

Бредем со Слоном по темным дворам: «Ну, вот у нас в общаге. Вот приходишь, еще с лестницы слышно. Вот сидит человек, пьет и орет. Ну, вот так живем. Бухло, бабы. Ну, скучно. Ну, и я “Лимонку” почитал, в бункер пришел. Тут партия...»

Сколько таких разговоров у меня еще было потом. Абсолютно однотипных и абсолютно ничего не объясняющих. Я бы понял, если б они были неудачниками или хотели всеобщей справедливости (что, в общем, одно и то же). Если б ими двигала обида. Или злоба. Или ненависть. Но ведь они это делают со скуки. Было скучно жить – вступил в партию.

Светка оказалась права. Сашка давно спит, да и сама Светка прикорнула на диване. Стараясь ее не разбудить, лезу в кладовку, щелкаю выключателем. Лампочка вспыхивает и перегорает.

Стою в потемках, слышу, как топчется и сопит в прихожей Слон. Поворачиваюсь, чтобы открыть дверь и впустить хоть немного света из комнаты, и задеваю ногой какой-то пакет. Раздается лязганье и грохот – это те самые злополучные кастрюли. Выволакиваю лязгающий пакет, попутно обрушив что-то еще.

Проснувшаяся Светка недовольно бормочет. Слон, стянув с головы шапчонку с нашивкой Fuck off, смущенно раскланивается, обнаружив манеры мальчика из хорошей семьи. Я копаюсь в груде вещей, пытаюсь на ощупь найти под ней чайник.

Наконец чайник извлечен. Перекладываем самые большие кастрюли Слону в рюкзак, для остальных находится сумка. Слон, еще раз пробормотав извинения, выскакивает из квартиры.

Донести все кастрюли до Чапаева он не смог. На него напали где-то у площади Ленина. «Хоть бы закурить попросили, – рассказывал он потом. – Нет же, подскочили сразу – и по голове...» Говорил он это с таким возмущением, как будто именно несоблюдение ритуала его больше всего и обидело. С него сорвали рюкзак, сбили с ног и начали запинывать. Слон вывернулся, вскочил и убежал в темноту, унося с собой старую сумку, в которой звякали две кастрюльки и чайник без крышки.

МЕХАНИЗМЫ

Последние летние каникулы. Еще примерно месяца полтора. А потом сжать зубы, как-то перетерпеть еще девять месяцев, и все, прощай школа.

Павлик школе свое «прощай» уже сказал, поменял ее на какую-то шарагу. Я так и не спросил, на кого он будет там учиться. Да он и сам, кажется, не имел об этом понятия.

Мы валяли дурака. Дни были жаркие и пустые.

Единственная забота – отоварить продуктовые талоны на семью.

Великая страна доживает последние годы. В столицах толпы бушуют на митингах и демонстрациях. На окраинах тлеет война. А кое-где уже полыхает.

Но Горький – тихий провинциальный город, даром что местные пыжятся, называют его «третьей столицей». Никаких демонстраций, никаких шествий, никаких многолюдных митингов. Редкие застенчивые выступления пугливой демократической общественности, и подросток, запустивший бутылкой с бензином в окно обкома партии – вот и вся местная политика.

Едва ли не единственным заметным признаком надвигающейся катастрофы стали продуктовые талоны. Уже года два как ввели талоны на сахар. Потом, кажется, на масло. Теперь ежемесячно выдают целую простыню с десятком ярлычков на разные продукты. Отдельно нужно получать талоны на водку и мыло.

Как-то мы с Павликом нашли на улице за сараями замызганную хозяйственную сумку с паспортом. В паспорт было вложено два комплекта талонов. Мы долго спорили: вернуть ли только паспорт или талоны тоже. В конце концов вырезали талончики на конфеты, честно их поделили, а остальное отнесли по адресу проставленной в паспорте прописки.

В магазинах постоянно очереди. Люди стоят тесно прижавшись друг к другу, выставив локти, чтобы никто не пролез со стороны. Все нервные и злые. Ближе к прилавку очередь почти всегда превращается в давку.

«Ох, ребята, – причитала какая-то старушка, когда мы с ней вместе давились за куриными желудками в гастрономе на Гагарина, – что ж это творится-то! А что дальше-то будет? Как вас-то жалко, ребята!» «Да чего? – беззаботно ответил я. – Хуже-то уже не будет». Умудренная жизнью старушка вздохнула и покачала головой.

Уже дня через два я узнал, что может быть гораздо хуже. И даже наверняка будет.

Павлика остановил на улице милицейский патруль. Годы и годы милиции на улицах почти не было видно. А тут вдруг даже по дворам стали шастать патрули.

Менты что-то у Павлика спросили. Он им что-то ответил. Может быть, грубо, а может, им просто так показалось. И его начали бить. Дубинками! У них были дубинки!

Согнувшись под ударами, Павлик увидел под ногами обломок кирпича, подхватил его и врезал одному из ментов по морде. Остальные оторопели, а Павлик швырнул в них кирпичом и убежал.

Так, по крайней мере, рассказывал он сам. Может, и врал, но я ему поверил. Был Павлик худ и невысок и, в общем, выглядел безобидно. Но я видел его в драке и знал, что внешность обманчива. Засветить кирпичом в физиономию он вполне мог.

Уж скорее неправдоподобными мне могли показаться менты, вот так запросто избивающие подростка. Тем более дубинками. Мента с дубинкой я еще в жизни не видел. На карикатурах в «Крокодиле» или какой-нибудь «Социалистической индустрии» капиталистические полицейские непременно были с дубинками – тыкали ими в грудь изможденного негра или белого бедолагу-безработного в потертом пальто. В руках советского милиционера представить дубинку было невозможно. Но и в дубинки я почему-то поверил безоговорочно и подумал еще: «Вот ведь как детство-то заканчивается!»

У Павлика были длинные вьющиеся волосы. Очень может быть, что за волосы менты его и выбрали: приняли за хиппи. Когда я пару лет спустя отрастил патлы, у нас на Каравайхе какой-нибудь ханыга то и дело порывался схватить меня за рукав, тыкал пальцем и хрипел: «А ты че? Хипа?»

Я, конечно же, никаким хиппи не был. И Павлик не был тоже. И вообще хиппи были давно не в моде.

Как-то на асфальтовой дорожке в парке мы прочитали накарябанный мелом лозунг: «Ударим острым мечом рока по тупым головам нововолнистов!» Павлик от надписи пришел в восторг. Он у меня уже как-то спрашивал, за кого я: за волнистов или за металлистов. Вопрос для меня смысла не имел. Ни о волнистах, ни о металлистах я не знал ничего.

Теперь же Павлик заставил меня послушать хэви-металл. У него была пара пластинок настоящего хэви-метала. Он, явно смакуя словечко, называл их «пластами». В запасе у него было полно словечек, которые будоражили мое воображение.

Пласты покупались на «куче», она же «толчок». Звучит несколько двусмысленно, но почему-то никто не обращает на это внимание. Как-то Павлик показал мне кучу с паркового откоса. Картина показалась грандиозной. Далеко внизу на маленьком пятачке колыхалась огромная толпа. От нее исходил даже наверху слышный гул. Кажется, там было очень весело.

В школе на классных часах нас вот уже несколько лет предостерегали от походов на кучу. Павлик тоже рассказывал о покупке и обмене пластов как об опасном приключении. Во-первых, на куче время от времени проходили облавы. Ментовские, разумеется. Зачем? Мне этого было не понять. И Павлик тоже объяснить не смог.

Во-вторых, по куче бродили шакалы. «Кто, кто?» – удивленно переспросил я. «Ну, шакалы, – Павлик тоже был удивлен, что я не понимаю, – пласты приходят отжать просто так или денег отобрать». Поэтому на кучу одному лучше не ходить. А если ты не один, шакалам можно ввалить. «Такой махач был в прошлый раз! – Павлик рассказывал вдохновенно, как Гомер о битве троянцев с ахейцами. – Арматурой мочили!» – «Как это арматурой?» – я был мальчик даже слишком домашний и все

никак не мог привыкнуть, что жизнь, она вот такая. – «Ну а чего?» У Павлика есть тяжелая цепь – он мне ее показывал – специально чтобы мудохать шакалов.

Хэви-металл оказался музыкой грохочущей и скучной. Нет, я точно был не за металлистов.

Волну я тоже послушал. Решил, что за этих я не буду тоже, и окончательно уверился в собственной исключительности.

В районе вдруг наоткрывали видеосалонов. С десяток, не меньше. На каждом углу выставлены фанерные щиты с расписанием сеансов. Схема стандартная: с утра – фильмы про карате и кунг-фу, днем – американские боевики со Сталлоне и Шварценеггером (Павлик фамильярно зовет его Шварцем), ближе к вечеру – все тот же Шварц или ужастики, а потом – эротика. Возможны варианты: Шварца могут начать крутить с самого утра. Абсолютно везде показывают «Эммануэль». При этом на щитах обязательно пишут: «До 21-го года». Видимо, для рекламы.

Я был в видеосалоне пару раз, и мне не понравилось. Душный подвал с низким потолком, жесткие лавки, с которых подростки тянут шеи к телевизору, гнусавый голос переводчика, запись невысокого качества, и по экрану постоянно бегут помехи.

Павлик фанатеет от зомби, мутантов и прочих кровососов. Мы с ним посмотрели «Капитан Крокус против вампиров». У меня как-то не покатило. От всего фильма я только название и запомнил.

Все-таки настоящий кинотеатр с просторным залом и большим экраном гораздо лучше. В «Электроне» какой-то киноклуб «Время» уже больше года крутит старые фильмы. Изредка показывают всякую заумь: Феллини и Антониони, но чаще что-нибудь более кассовое: «Тарзана» с Вайсмюллером, «Фантомаса» или французские костюмные фильмы с Жаном Маре.

Когда на щите около кинотеатра появилось название «Великолепная семерка», даже мой обычно угрюмо-спокойный отец пришел в возбуждение. Это был последний раз, когда мы ходили в кино вместе с отцом. И первый раз, когда я увидел настоящий вестерн. Это было гораздо лучше всех гэдээровских фильмов про индейцев, которые я видел до того. Это было начало большой любви. Но в видеосалонах вестерны не крутят.

Хочется приключений, хоть каких-нибудь. Мы обдумываем план ограбления тетки, которая торгует пирожками на остановке «Райсовет». План кажется нам безупречным.

Один подходит, берет у нее со стола пирожок и убегает, не расплатившись. Если тетка за ним погонится (а она погонится почти наверняка), второй сможет забрать еще пирожков или даже запустить руку в ее кассу.

Мы обсудили план во всех деталях, но так и не смогли решить, кто подойдет первым, а кто будет потрошить брошенный товар. Идея осталась нереализованной.

Не помню, кто первым из нас произнес слово «поработать». Очень может быть, что я. Еще пару лет назад, гостя летом у бабки в Лыскове, я высказал желание устроиться на местный пивзавод. Но бабка Нюра решительно воспротивилась. Я так и не смог объяснить, зачем мне это понадобилось. «Денег заработаю?» – «Да зачем тебе деньги?» А действительно, зачем?

С родителями проще: хочешь – иди, работай.

Об устройстве на работу представления мы имеем весьма приличные, ну, кроме того, что право на труд в советской стране

гарантировано каждому. Вроде бы нужно посетить какое-то бюро по трудоустройству.

Как оказалось, бюро – небольшая комнатенка, где за обшарпанным столом восседает бегемотиха в толстенных очках. Бегемотиха пьет чай и очень раздражена нашим появлением: «И чего вам не гуляется?» – «Ну вот... Денег хотим...» Неприязненно хмыкнув, бегемотиха, сопя, лезет в один из ящиков и швыряет перед нами пачку бумажек: «Вот, выбирайте!»

Выбирать на самом деле особо не из чего. Варианты разнообразием не балуют: разнорабочий, грузчик, снова грузчик, опять разнорабочий. Ну, мы, в общем, на иное не рассчитывали.

Павлик оказывается неожиданно практичным: «А где тут платят больше?» Тетка вновь неприязненно хмыкает: «Да нигде!» Переглядываемся. Вытаскиваю первую попавшуюся бумажку: «На мясокомбинат пойдем?» Павлик пожимает плечами.

Едем на мясокомбинат. Окраина города. Автобус выворачивает между какими-то садовыми товариществами. За неопрятными дощатыми заборами торчат крыши облезлых фанерных домишек. Сады перемежаются автобазами и какими-то заводиками, серые дощатые заборы – выкрашенными в бледно-желтый цвет бетонными. От обилия заборов становится тоскливо.

Оформляют нас на удивление быстро. Пельменный цех, работа по-сменная: день – в первую смену, день – во вторую. Приступить к работе можно прямо сегодня: вторая смена начнется примерно через час.

Узнав, что это наша первая работа, тетка, принимавшая заявления об устройстве, как-то странно радуется. Из конторы мы выходим, держа каждый по куску плотного тисненого картона, обильно изукрашенного кумачовыми знаменами, золотыми шестеренками, молотами и прочей соответствующей атрибутикой. «Дорогой друг! Сегодня ты вливаешься в нашу рабочую семью. Теперь ты тоже несешь гордое звание рабочего человека. Поздравляем...» У тетки в конторе целый шкаф забит такими грамотами.

Павлик свою незамедлительно выбрасывает, а мне почему-то жалко. Но деть ее некуда, а таскать в руках у всех на виду как-то неловко. Ощущаю себя полным идиотом.

Как только мы оказываемся на территории комбината, я начинаю жалеть о нашей затее. Все тот же летний день, чистое голубое небо, солнце жарит. Но все вдруг становится как-то уж совсем уныло...

Павлик наоборот оживляется. Мы как раз сворачиваем в указанном нам направлении. «Гляди!» По дощатому настилу вниз в открытые ворота приземистого мрачного здания спускаются коровы. «На убой пошли», – поясняет Павлик на случай, если я вдруг не понял.

Мы проходим мимо этих распахнутых ворот. В десятке, наверное, книжек читал про запах смерти и всегда был уверен, что это так, для красного словца. Но нет, вот он, я его чувствую. Кошмарный и почему-то невероятно едкий. У меня слезятся глаза, и я почти бегу, размахивая нелепым куском красного картона.

Пришли. Высокое, серое, какое-то все обшарпанное и тоже мрачное здание. Как приговор. У стены высится груда рогов, копыт, каких-то костей.

Пельменный цех – на шестом этаже. Под ним, на пятом – колбасный. Это я запомнил из объяснений в конторе. Нижние этажи на первый взгляд производят впечатление заброшенных.

Поднимаемся по узкой лестнице. Бетон ступенек раскрошился. Ни одного окна. Мертвый бледный свет грязных неоновых ламп. Лифт мы не нашли, но он явно есть: за стеной очень характерно гудит и лязгает. Ощущение, что мы не вверх поднимаемся, а спускаемся в какой-то бункер. Воздух как в подzemелье, холодный и сырой. И еще запах. Не такой, как на улице, и не такой сильный, но тоже тошнотворный.

Шестой этаж, коридорчик, что-то вроде предбанника, и наконец наш цех. Запах становится резче. Замираю, чтобы справиться со спазмом в желудке.

Мутный свет из наполовину замалеванных голубовато-серой краской окошек. Кому и зачем понадобилось закрасивать окна на шестом этаже? Непонятно. Гудящие лампы под потолком, забранные решеткой.

Такая же голубовато-серая кафельная плитка на стенах. Сырые цементные проплешины там, где плитка осыпалась. Проплешин много.

И ни одной живой души.

Какой-то агрегат с натужным чавканьем то ли перемалывает, то ли перемешивает в огромном чане сизую массу.

– Это че? – спрашивает Павлик

– Тесто? – отвечаю неуверенно.

– Да не... Фарш.

Очередной приступ тошноты.

– Гляди! – Павлик возбужденно дергает меня за руку. По краю чана скачет здоровенная серая крыса, килограммовая, наверное, не меньше. В глазах Павлика загорается охотничий азарт. Он озирается, чем бы в нее швырнуть. Но крыса уже пропала. Юркнула куда-то между лязгающих частей механизма. А может быть, свалилась в чан.

– Офигеть! – Павлику тут явно нравится.

– Где мастера-то искать?

– Не знаю. Вон там, наверное, – Павлик тычет куда-то за агрегат.

Действительно, там обнаруживается проход. Оттуда доносятся голоса. Две тетки, одна в сером халате, другая – в ватнике, в темном закутке перебирают бумажные мешки и визгливо ругаются. «А где тут мастер?» Недружелюбно зыркнув, одна из теток машет рукой: «Туда! Туда!»

Весь пельменный цех – лабиринт из таких вот полутемных закутков и залов с частично обвалившимся кафелем. В некоторых из них громыкает и лязгает очередной агрегат. В других над мешками и коробками копошатся тетки. Лиц не видно, а фигуры у всех одинаково мешковатые. Время от времени, гудя, проезжает электрокар.

В одном из закутков – нечто вроде будки, закрытой поцарапанным оргстеклом. В будке горит свет. Заглядываем. За столом под лампой сидит мужик в робе и, старательно водя пальцем по строчкам, читает книжку.

– Здравствуйтесь, – обращаюсь к нему с порога. – Вы мастер?

Мужик поднимает на нас бесцветные, абсолютно прозрачные глаза, оглаживает неопрятные усы и не произносит ни звука, сидит, смотрит на нас, покачивается и молчит. И тут до меня доходит, что он пьян вдугаря.

– Э... – смотрю на Павлика. Он пожимает плечами.

– Я мастер, – раздается у нас за спиной. Оборачиваемся. Очередная тетка в синем на этот раз халате, с какой-то действительно начальственной осанкой. Взгляд тяжелый – возникает желание вытянуться по стойке смирно. У Павлика, кажется, тоже. «На работу?» Мы поспешно киваем. «Ну, пошли! Смена скоро».

Минут через двадцать у нас есть персональные шкафчики для переодевания, персональные халаты (у меня – синий, у Павлика – серый) и персональные большие, тяжелые, обитые жестью совки. Мы стоим в одном из закутков, согнувшись над фанерным ящиком с пельменями, и совками перегружаем их в бумажные мешки. В мешок нужно насыпать двадцать килограммов, запаковать его и уложить на платформу электрокара.

Вместе с нами орудуют совками еще двое пацанов, которые трудятся в цехе уже неделю. Мы познакомились, конечно, но имена я забыл мгновенно. Мы обсудили с ними расценки: больше трех рублей в день заработать вряд ли получится, да и три-то рубля с трудом. В результате интерес к работе у меня потерян полностью. Но деваться некуда – ковыряюсь.

Павлик между делом обсуждает перспективу посещения забойного цеха. «Можно как-нибудь в обед забежать. Мужики стакан крови выпить нальют. Они сами пьют ее постоянно». Павлик воодушевляется – у меня который уже за день приступ тошноты.

Один из пацанов вслух методично подсчитывает свой дневной заработок. «Еще десять копеек, – бормочет он, водружая очередной мешок на весы. – Еще двадцать». Хочется, когда он вновь нагнется над ящиком, долбануть его совком по затылку и зарыть в пельменях.

Мы нагрузили полный кар. Мешки нужно везти в холодильник. Вообще-то нам на каре ездить не полагается, но за ним никто не приходит, и один из нас становится за рычаги. Остальные, забросив надоевшие уже порядком совки, увязываются следом.

Двери холодильника – две огромные створки, как крепостные ворота. Из-за дверей несет холодом и сыростью. Заглядываю внутрь. В белой морозной мгле шевелятся фигуры в ватниках. Мне представляется, как я делаю еще несколько шагов, и ворота холодильника захлопываются у меня за спиной. Накатывает волна панической жуты.

«У Данте в самом центре ада царит дикий холод», – сообщаю я коллегам по дороге обратно. Данте я не читал, конечно же, но читал о нем. «Че?» – брезгливо переспрашивает пацан с электрокара. Павлик качает головой, осуждая мою неуместную попытку блеснуть эрудицией.

На следующее утро мать будит меня в дикую рань. У меня первая смена. Вообще-то я всегда просыпался рано – так, по крайней мере, мне казалось – часов около восьми. Но в восемь смена уже начинается. Так что мать поднимает меня около шести, да еще подгоняет, пока я, продирая глаза, натыкаюсь на кухне на табуретки: «Торопись! Ты уже опаздываешь!» Дернул же меня черт придумать себе эту проклятую работу! Спал бы себе сейчас и спал...

Выползаю из подъезда. День обещает быть прекрасным. Солнце еще только показалось из-за крыш, но уже жаркое, добела раскаленное. Небо невероятно голубое, без единого облачка. Зелень листьев яркая и какая-то праздничная. И все это великолепие я променял на пельменный цех, на его мрачную сырость и кошмарные запахи. Приговоренный к смерти, наверное, примерно такими глазами смотрит на утро своего последнего дня.

Пока болтаюсь, ухватившись за поручень в переполненном автобусе, у меня случается озарение. А ведь будущая моя жизнь, значительный ее кусок, будет вот такой. Не мясокомбинат, конечно, что-нибудь другое, но, по сути, то же самое: ранние подъемы, ватная голова и восемь часов какого-нибудь неприятного занятия. Открывшаяся истина настолько чудовищна, что я готов разрыдаться. Сдерживаюсь с трудом.

Часы над стеклянными дверями проходной показывают без пяти восемь. От проходной до цеха идти минут десять. А там еще переодеться. Явно опоздал.

В проходной толстая рыжая баба, мельком бросив взгляд на мой пропуск, вдруг заявляет: «Он у тебя без фотографии. Паспорт давай!» Застываю, опешив. В пропуске места под фотографию не предусмотрено. Зато там написано: «Действителен без предъявления документов». Бабе, разумеется, это отлично известно. Паспорта у меня с собой нет. У меня его вообще еще нет.

– Так не нужен же паспорт...

– А откуда я знаю, что это ты! – баба глядит с ленивым любопытством. Ей скучно, а я – нежданно подвернувшееся развлечение.

Возникает радостная мысль развернуться и уйти, и покончить с нелепой идеей поработать. Ласковый день манит...

«Пропустите! Я на работу опаздываю!» – как всегда, столкнувшись с явной несправедливостью, я начинаю чрезмерно нервничать и суетиться. Бабища забавляется, ждет, что я буду делать дальше.

Пытаюсь пройти за турникет. «А ну, стой!» – она вскакивает и хватается за кобуру. Ёлки! У бабищи на поясе кобура – только сейчас заметил. «Может ведь и застрелить», – проскакивает мысль. Но я чувствую такую обиду, что испугаться не успеваю. «К начальнику охраны пойдём!» – говорит она грозно.

Идти, впрочем, никуда не нужно – комнатуха охраны здесь же, при проходной. Бабища заталкивает меня внутрь, а сама встает в дверях, грозно положив руку на кобуру.

В комнате в это время двое мужиков обыскивают третьего, извлекая у него из каких-то невообразимых мест гирлянды сарделек. Обыскиваемый покорно поднимает руки, задирает рубашку, поворачивается. Появившихся ниоткуда сарделек становится все больше и больше. Выглядит это как скверно отрежессированный номер фокусника-любителя и продолжается долго, очень долго. Я стою и вяло размышляю, откуда взялся этот нелепый несун в восемь часов утра, когда смена еще только началась.

Наконец с обыском покончено, мужика уводят куда-то, и внимание обращается на меня. «Этот чего?» Вопрос обращен не ко мне, но удержаться невозможно: «Вот. На работу хочу попасть». Баба криво усмехается и молчит.

Разбирательство занимает минуты две. «Дура! – орет начальник охраны на рыжую бабу. – Опять ты, тварь, за свое!» Та косится на меня и довольно жмурится. Прижучила сопляка!

Опаздываю я минут на сорок. Мастер оправданий моих даже не выслушала. Она все так же сурова и немногословна. «Вот, – кивает на стоящую рядом бабку в пуховом платке и валенках, – с ней пойдешь сейчас. В колбасном помочь надо. После обеда вернешься».

Ташусь вслед за бабкой на пятый этаж. В колбасном цехе пахнет тоже противно, но хотя бы не так резко. Зато сырость промозглая просто невероятная. Пробираемся между рядами развешанных колбас. Трясусь от холода и бешено завидую бабке, ее пуховому платку и валенкам. Валенки бабке сильно велики, едва не сваливаются, но все-таки это лучше моих драных клеенчатых кроссовок. «А на улице сейчас солнышко, тепло», – думаю со злостью.

За рядами колбасы обнаруживаются сбившиеся в кучу металлические тележки на роликовых колесах. Бабка с лязгом выдирает одну из них и брезгливо толкает мне: «Давай, поехали».

Толкаю громыхающую тележку какими-то полутемными коридорами. Роликовые колеса цепляются за неровности пола. Тележку постоянно ведет то вправо, то влево. К тому же бабка эта еще... Вцепилась в край, но толкать не помогает, а скорее мешает, висит, болтается, ежеминутно теряя валенки.

За всем этим я не сразу понимаю, что мы спускаемся вниз и уже оказались на этажах, которые казались мне необитаемыми. Оказывается, сюда можно съехать минуя лестницы. Здесь, кажется, ничего нет, кроме холодильников – по обе стороны коридора сплошняком огромные, покрытые инеем двери. От холода у меня зуб на зуб не попадает. А сырость такая, что тележку мы толкаем сквозь густые клочья тумана.

«Сюда», – командует бабка. Распахиваются двери, белая клубящаяся мгла вырывается в коридор, волна мороза едва не валит с ног. Чувствую, что просто не смогу себя заставить зайти. Бабка зыркает на меня и милостиво разрешает: «Ладно, внутрь не ходи, жди». Заталкиваю тележку в двери и поспешно отскакиваю в сторону...

Не знаю, чего нам там нагрузили, но нагрузили от души. Приходится упираться, чтобы сдвинуть тележку с места, и она стала совершенно неуправляемой. Нас бросает от одной стенки коридора к другой.

– Поворачивай к лифту!

– Куда?

– К лифту. Вон, налево.

Створки лифта почти не отличаются от дверей холодильника: такие же огромные, серые и покрытые инеем. Бабка пытается их отжать и голосит в образовавшуюся щель: «Виктор! Виктор!» Ничего не происходит. «Виктор! – вновь кричит бабка, а потом, оборачивается и говорит ворчливо: – Трахаются опять!» Вот те раз! Пока мы толкали тележку, бабка бухтела, ворчала и ругалась не переставая, но не материлась. О чем это она? «Людка, чай поди, опять к нему пришла! Остановили лифт где-то между этажами и трахаются! – бабка вновь вцепляется в створки. – Виктор! Виктор!» Наконец раздается гуденье и лязганье приближающегося лифта.

Створки разъезжаются, из проема, оправляя халат, выходит тетка. «О! Смотрите, пошла!» – начинает голосить бабка, но та молча отодвигает ее плечом и с гордо поднятой головой удаляется в туман коридора. Я даже не успеваю разглядеть, какая она была. Молодая? Красивая или нет? Бабка, поперхнувшись, обиженно сопит.

«Ну, давайте! Завозите!» – командует она. Толкаю тележку в лифт. С другой стороны в нее вцепляется Виктор. Какой-то он мелкий, с неопрятной щетиной, и табачная вонища перебивает даже все прочие запахи. «Что? Опять трахаетесь? – визгливо вопрошает бабка. – А? Прямо на работе!» «А чего?» – отвечает Виктор радостно-дебильным голосом. Незаметно, чтобы он был особо смущен. «Давай на пятый!» Лифт дергается и с гудением ползет вверх.

Бабка продолжает визгливо браниться, Виктор что-то неразборчиво бухтит ей в ответ. А я стою, зажатый в угол тележкой, разглядываю металлический пол, по которому размазаны какие-то мясные ошметки, и думаю, что вот буквально только что, вот прямо здесь...

«Вон и практикант тоже... Смотри, какой молодой», – слышу я и понимаю, что бабка пытается пристыдить Виктора моей персоной. Лифт останавливается, двери разъезжаются.

– Давай, практикант, толкай, – бабка вцепляется в тележку.

– Я не практикант, – говорю зачем-то.

– Как не практикант? Ты не из техникума?

– Я на лето устроился поработать.

– А... – в голосе бабки мгновенно появляется враждебность. – Ну давай, толкай!

Сама она тележку отпускает и больше к ней не притрагивается. Что, впрочем, и к лучшему: одному с ней управляться удобнее.

Мы проделываем еще два рейса. Бабка помыкает мной со все нарастающей злобой. Поначалу я не знаю, как к этому относиться, но вдруг понимаю, что сам виноват. Никто меня за язык не тянул. Я был для нее свой, мальчик из техникума. У нас была общая судьба. И вдруг оказалось, что я – из другого мира, а здесь – по собственной какой-то непонятной прихоти. Натешусь и уйду, а она так и будет до самого конца толкать тележку по сырým и холодным коридорам.

В обеденный перерыв нахожу в столовой Павлика и своих вчерашних знакомых. «Ты че сегодня? Где был?» Хочется рассказать им про Виктора и чем он занимается в лифте. Но как-то неловко. И я рассказываю про мужика, которого обыскивали на проходной, про груды сосисок.

«Это чего, – откликается тот, который вчера считал заработанные копейки. – Знаешь еще как делают? Берут язык говяжий, в женский чулок вот сюда себе...» – он показывает на гульфик. «Только в охране знакомые должны быть, – перебивает его второй. – Иначе хрен вынесешь». «Если знакомые в охране, то на хрена в штаны-то это дело совать?» – спрашиваю. От моего вопроса отмахиваются как от глупого и начинают увлеченно обсуждать разные способы прятать мясо и колбасу, чтобы пронести через проходную.

Пока обед не кончился, успеваю выскочить на улицу. Лучше бы я этого не делал – только душу травить. В такую погоду хорошо сидеть на берегу у речки или книжку на балконе читать, а не ковыряться в ящичке смерзшихся пельменей. Хоть бы ливень завернул или, еще лучше, град пошел. Было бы легче, наверное. Но нет же! Кажется, никогда еще не видел такого пронзительно-голубого неба...

В цехе пацаны увлеченно гоняют крысу. Павлик наконец-то нашел, чем в нее кидать. Совок оказался снарядом очень удобным, только в крысу попасть все равно сложно. Она мечется, резкими бросками перескакивает с одного лязгающего агрегата на другой. Павлик раз за разом промахивается. Совок врезается в стену, кафель ломается и с грохотом падает на пол. Я думаю уже, что им с животным не совладать. Но тут крыса делает неудачный рывок, соскальзывает с кромки чана и, пискнув, исчезает в размешиваемой сизой массе.

Меня ставят работать с женщинами. Две коренастые мужиковатые тетki и девчонка. Все работницы пельменного цеха кажутся мне старыми, хотя на самом деле теткам и тридцати нет, наверное. А девчонка совсем молодая, не старше меня. Ее тоже явно не радует, что она сейчас находится вот здесь в компании нас и ящичка пельменей. Она угрюмо зыркает из-под насупленных бровей и молчит. А тетki тряндят без умолку.

«Я, когда молодая была, только устроилась, мне комнату в общежитии дали, – разглагольствует одна из них, запаковывая очередной насыпанный нами мешок. – Мы утром с соседкой просыпаемся... Ранища, на работу не хочется. Она мне говорит: давай не пойдем. И не идем». Как я ее понимаю... «И так два дня гуляем. А потом мастер к нам прямо в комнату приходит. Ругается и по жопе нас прямо: чтоб завтра, суки, на работе были! Вот... А с парнями-то лучше...» И вдруг она ставит

мешок на пол, оглядывает нас с девчонкой: «А вы ведь молодые! Вы же могли бы...» Мы в панике переглядываемся.

– Вот тебе сколько лет?

– Шестнадцать почти.

Шестнадцать мне будет на самом деле еще только в ноябре. О сексе я думаю постоянно. Женские ноги, любые, даже не самые стройные, даже вовсе колесом, сводят меня с ума. Юбка немного выше колена – и я моментально прихожу в возбуждение. На лицо даже не смотрю. Красивая, страшенькая – это все неважно. Но вновь вспомнился Виктор, мясные клочья на полу лифта... Это гасит любые желания... Нет, не надо...

– А тебе сколько? – поворачивается тетка к девчонке. Идея сострять из нас рабочую династию, кажется, увлекает ее всерьез.

– Семнадцать.

– Да? Ну вот видите!

Девчонка краснеет. «Не... Молодой слишком», – бормочет она и поспешно зарывается в пельмени. Тетка довольна, радостно смеется.

На следующий день я работаю один. Маленькая комнатуха, над головой нависает огромная воронка. В воронку откуда-то из стены на ленте транспортера выплывают и сыплются пельмени. Снизу к воронке тянется лента целлофана. Надувается прозрачный пузырь, в него вываливаются пельмени. Пузырь с чавканьем отрывается от воронки. Я подхватываю упаковку и укладываю в коробку. Целлофан гладкий и плотный, на ощупь очень приятный, гораздо приятнее ручки совка. И пельменного теста на руках не остается. И вообще одному работать лучше.

Лениво думаю обо всем этом, пересчитываю пакеты, вижу сны наяву и спохватываюсь только, когда пельмени начинают сыпаться мне на голову. Целлофановую ленту заело, а верхний транспортер работает исправно. Пельмени переполнили воронку и сыплются через край. Не успеваю опомниться, как уже стою зарытый в ледяные пельмени по пояс.

На мой испуганный крик прибегает мужик, тот самый, который в наш первый рабочий день пьяный сидел в кабинке мастера и читал книгу. Он и сейчас пьяный. Кажется, он пьяный всегда. Но в этот раз он не молчит, орет вовсю, нечленораздельно, но очень громко: «Выключатель, блин! Вырубай на хрен!» Но где этот выключатель, мне не показали.

А пельмени продолжают сыпаться. Уже вываливаются за порог моей клетушки. Накатывает паника. Живо представляю, как я сейчас буду погребен под этими белыми мерзлыми комками теста. Мужик бессильно подпрыгивает по ту сторону проема, в отчаянии выкрикивая: «Сука! Сука!» Волна пельменей подкатывает к его раздолбаным ботинкам.

И тут я обнаруживаю на стене черную коробку с большой щербатой красной кнопкой, странно даже, что не заметил ее раньше. Несколько раз молочу по ней кулаком. Агрегат останавливается, потом запускается вновь, потом умирает уже насовсем. Лавина пельменей прекращается. Мужик выдыхает с облегчением. «Щас, блин, лопату тебе принесу. Будешь на хрен разгребать...»

Лопата огромная фанерная. Выкапываться ею в тесной комнатухе жутко неудобно. Стою по грудь в пельменях с лопатой над головой и пытаюсь черенком проковырять себе путь к свободе. Пельмени меж тем начинают оттаивать. Привычное уже ощущение холода и сырости. Те, что были в самом низу, превратились в серую слизь. Противно чавкает, ноги скользят.

Вырываюсь наконец из плена и начинаю сгребать все это в бумажные мешки. Лопата с отвратительным звуком скребет по бетонному полу...

В обед в столовой говорю Павлику: «Вот любил же я пельмени. Самая любимая с детства еда была. А теперь смотреть на них уже не могу. Вот еще чуть-чуть...» «Ну так надо наесться напоследок хорошенько, – усмехается Павлик. – Давай сегодня возьмем по пачке».

Перспектива кажется заманчивой. Пельмени противны мне уже до тошноты, но кража возбуждает. Вот только воспоминание о шмоне на проходной смущает...

Но у Павлика уже все продумано. Он ведет меня на улицу. За нашим корпусом – какие-то руины. Перелезаем через груды битого кирпича и оказываемся у огромных намертво закрытых ржавых ворот. Под ворота можно тушу коровы просунуть, не то что два маленьких пакета «Эти ворота за углом от проходной. Понял?» Не знаю, когда Павлик успел все это разведать.

После работы притаскиваю в раздевалку пельмени. Внутри колотится радостное предвкушение пусть и маленького, но все-таки приключения. Выходим на улицу, вокруг никого. У нас, малолеток, рабочий день на час короче – народ домой еще не повалил. Вновь перелезаем через груды кирпича, суем пакеты под ворота и в полной уверенности, что нас никто не видел, направляемся к проходной. Махнув перед охраной пропусками, радостно смеясь, выскакиваем на улицу и заворачиваем за угол...

То ли мы ошиблись и кто-то все-таки видел, как мы засовывали пельмени под ворота, то ли в охране мясокомбината работают запрядельно проникательные люди, то ли... В общем, я не знаю, как так получилось, но в тот момент, когда мы извлекаем пакеты из-под ворот, за спиной раздается окрик: «Стоять!» Три человека, двое из них в форме, а у одного даже, кажется, кобура, прижали нас к воротам. Я завертел головой, заозирался. Слева – заборы каких-то очередных садов, между заборами – узкий проход. Где-то там дальше должна быть железнодорожная ветка. Справа – широкая асфальтированная дорога. Бежать, по идее, надо налево. В садах можно затеряться, а на дороге уж точно не спрячешься. Впрочем, рассчитывать что-то бессмысленно. Все равно эти трое перекрыли все пути.

Пока я вот так стою и раздумываю, Павлик делает рывок и, проскочив у мужиков прямо под руками, скрывается в проходе между заборами. Двое бросаются за ним. Дальше тянуть нельзя. Кидаюсь вправо. Я не самый резвый бегун, но стартовал хорошо. Мой преследователь немолод и тучен, но упорен. И хотя он остался далеко позади, не сдаётся. Слышу сопение и топот его ног. Бежим.

Долго бежать непривычно. В боку уже закололо. Пакет пельменей очень мешает. С удивлением понимаю, что он по-прежнему зажат у меня в руке. Разворачиваюсь и швыряю пельмени в преследователя, целюсь в голову. Мужик, отпрыгивает, спотыкается и летит в канаву. А я разворачиваюсь и бегу дальше, увязая ногами в раскаленном солнцем асфальте.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

Летом девяносто восьмого меня на улице окликнул по имени низко-рослый тщедушный мужичонка. Лицо его мне было определенно знакомо: я отлично помнил и поросшие волосом уши-лопухи, и залысины над морщинистым лбом, и впалые щеки, и сталинские усы, не помнил только обстоятельств нашего знакомства. Имя его тоже не вспомнилось, сколько я ни напрягал память. Но он, казалось, был искренне рад меня видеть, и это несколько удивляло.

Первые слова, которые он произнес после приветствия: «Работа нужна?» Я неопределенно пожал плечами. Какие-то деньги последний раз я получал полгода назад.

В России летом девяносто восьмого не платили почти никому. Оз-лобленные шахтеры в Москве стучали касками о мостовую у Дома правительства. По всей стране люди наладились останавливать поез-да, садясь на рельсы, и перекрывать автомобильные трассы. Где-то в провинции офицер местного гарнизона, доведенный безденежьем до ручки, приехал к зданию администрации на танке. Дефолт еще не слу-чился, но атмосфера обреченности царила. Политически озабоченная публика, собиравшаяся по средам около Дома труда, чтобы продавать друг другу оппозиционные газетки, с лихорадочным блеском в глазах обсуждала, когда следует ожидать революции. Так бабки у подъезда обсуждают погоду на завтра.

Мужичонка осмотрел мой мятый парусиновый пиджак, драные, но отнюдь не ставшие от этого стильными джинсы, патлы. «Охранником пойдешь», – заявил он даже без намек на вопросительную интонацию. Благодетель был явно нетрезв и потому категоричен. «Пойду», – согла-сился я, не очень, впрочем, веря в серьезность предложения. «Так, – он посмотрел на часы, – сейчас поздно уже. Завтра в десять на Горького приходи. Пойдем устраиваться».

Наступило завтра. Я опоздал ненамного, минут на десять. Впрочем, этого хватило, чтобы получить долгую выволочку за свою непункту-альность. Ну, ситуация привычная. Главное молчать, иметь покаянный вид и на все упреки согласно кивать головой.

«Ну чего... Мест у меня сейчас нет», – он уже явно жалел о своем вчерашнем приступе благодушия и готов был дать задний ход. Я его очень даже понимал и не обиделся бы ничуть. Но ему было передо мной неудобно, он мялся. Это моментально стало напрягать. Сказать бы «ну что ж, спасибо, до свидания» да и уйти. Но почему-то так вот сразу не получается никогда.

Стоим, молчим, сопим. До смешного напоминает ковбойскую дуэль – кто первым не выдержит. Не выдержал он: «Ладно. Отведу тебя в одно место. Здесь недалеко. Им люди всегда нужны». Я вновь киваю.

От площади Горького – минут десять. Идем какими-то дворами. Короткое путешествие по изнанке городской жизни. Кругом – кучи строительного мусора, притом что строек никаких не наблюдается. Хрустит битое стекло. Повсюду кучки фекалий, какие-то пакеты, мятые газетные листы. И это центр города, всего-то несколько шагов в сторону от главных магистралей.

Благодетель мой продолжает упрекать за несобранность, а в промежутках бормочет указания, как себя держать и что говорить. Он явно нервничает. Похоже, уже начал меня тихо ненавидеть, но ведет. Киваю не слушая. Я и так уже сделал все что мог: надел не сильно затертые джинсы без дыр и пиджак поменял на менее мятый. Туфли вот, правда, почистить не успел. Но что уж теперь...

Да и все равно это ничего не меняет. Даже в начищенных до блеска туфлях я вряд ли стану похож на бравого сотрудника охранного агентства.

Пришли. Тесная комнатуха, но зато с отдельным входом прямо с улицы. Традиционные офисные обои, виниловые, светленькие, порядком обшарпанные. Пара офисных столов. Невообразимо много стульев, так что постоянно о них запинаешься. Белый грязный пластиковый чайник. Отчаянно гудящий компьютер.

Хозяина целых два. Как и полагается, один – лысый и какой-то мелкий, другой – мужичище с мешковатой фигурой, на фоне своего компаньона просто огромный. Готовый комический дуэт, Пат и Паташенок, Тарапунька и Штепсель, хоть прямо сейчас на сцену исполнять куплеты.

Обычный разговор: сколько лет, где работал, чего заканчивал? При слове «гуманитарий» благодетель сникает, а мужики, наоборот, оживляются. Словечко их веселит.

– В армии служил? – спрашивает лысый.

– Военную кафедру посещал.

– А! Пиджак! – в голосе явное ликование.

В недоумении оглядываю свой пиджак. Ну неглаженный, да.

Благодетель мой нервничает все сильнее: «Да все он может, крепкий парень-то!» Зря он встрял. Нет смысла беспокоиться: видно уже, что я мужикам понравился.

Есть у меня такая странная особенность: частенько вызываю симпатию у так называемых «настоящих мужиков». На военной кафедре был у нас такой полковник Гофман. Маленький жесткий немец с боевым орденом на груди. Наша неспособность правильно, по уставу, зайти в преподавательскую отдать рапорт или, например, скомандовать «взвод смирно!» вызывала у него брезгливое недоумение. Но для меня он делал исключение. И даже пару раз пускался в какие-то неформальные разговоры. Сокурсники мне завидовали.

«Ну что же, – говорит мешковатый, – у нас всякие работают. Коммерсант прогоревший был недавно. Куда его поставим?» Напарники переглядываются, еще раз осматривают меня, мои очки. «А давай на школу», – отвечает лысый. Мешковатый кивает. «Сейчас за формой пойдем тебе», – говорит он мне. Мой благодетель тихо ликует.

И вот в погожий августовский денек в сопровождении своих новых начальников я вновь вступил под школьные своды. Не без робости, если честно.

«Гуманитарий, а если тебе учителем здесь предложат поработать?» – испытующе смотрит на меня мешковатый. Grimаса отвращения возникает сама собой.

Весь последний год за школьной партией я дни высчитывал, сколько еще осталось. На выпускном искренне и радостно вопил: «От звонка до звонка я свой срок отсидел...» Был уверен, что имена большинства одноклассников забуду быстро и прочно, и не ошибся, в общем-то.

Никогда больше я не должен был переступать школьный порог. Сам не пойму, как такое случилось. Год преподавания русского языка в классе коррекции был худшим годом моей жизни. По другую сторону баррикады оказалось еще более кошмарно. Я получал выволочку на каждом педсовете за шум в классе и отвратительные показатели. Я превратился в привычного мальчика для битья: завучи, коллеги, родители моих мучителей – все вытирали о меня ноги. Что ж, я действительно был отвратительным педагогом.

Я продержался сколько смог. И я дал себе слово, что теперь уж точно никогда...

И вот я нарушил слово – я снова в школе. «Бог троицу любит», – бормочу про себя традиционную пошлость. Утешения она не приносит. Но уж лучше так, чем снова в преподаватели.

Вполне удовлетворившись моим видом, мешковатый хмыкает.

Знакомство с коллегами-сменщиками и администрацией школы. Все привычно: директриса, рыхлая, расплывающаяся и барственная, завучиха, поджарая, энергичная и, с первого взгляда видно, стервозная. Обе, узнав о моем дипломе, начинают меня презирать.

Ритуальный обход территории, во время работы я должен буду повторять его каждый час. Спортивный зал, столовая, туалеты для мальчиков, туалеты для девочек. «Вот здесь мы с вами первого сентября будем встречать наших детей», – цедит сквозь зубы завучиха. Я криво усмехаюсь. «Наши дети» – скопление шкодливых дебилов и отвязных подонков, которые превратят вашу жизнь в ад легко и радостно. «И еще вам надо обязательно подстричься», – добавляет завучиха неприязненно.

Первое сентября. Новая жизнь на новом посту.

Когда-то я работал и вахтером, и сторожем. Вполне уважаемая работа для студента, тихая, спокойная. Мощно мифологизированная. «Поколение дворников и сторожей», а как же.

Охранником работать не в пример хуже. Во-первых, эта шутовская форма. Хорошо хоть не камуфляж. Но зато дурацкий берет нужно носить не снимая. И дубинка еще. Применять ее нельзя, ну, это понятно. Но даже показывать ее детишкам строжайше запретили, специально это оговорили. И при этом она всегда должна быть при тебе, чтобы не потерялась. Носить, но не показывать. Бред.

Во-вторых, когда сторожишь что-нибудь, пришел на работу, расписался, ключи собрал и в ящик запер, двери закрыл и сиди себе, чай гоняй. Или не чай. Или спать ложись со спокойной совестью. А тут все не так. Тут не присядешь. Каждый час – обход территории. Завучиха бдит. Влачусь, неловко пряча за бедро дубинку. Абсолютно бесполезный обход.

Какая-то мамаша выговаривала мне с возмущением: «Мне мой ребенок рассказывает: “Захожу в туалет, а там старшие девочки прививки себе делают”. Я ее спрашиваю: “Как прививки? В попу?” А она мне: “Нет, в руку”. Это безобразие!» Ну безобразие. Но я-то что должен делать? Засады в женском туалете устраивать? Врываться туда неожиданно? Что?

Каждое дежурство появляются мои начальники. Без них бы было совсем хреново – завучиха бы меня сожрала совсем.

Начальники теперь порой не ездят, появляются по одному, но без всякой системы, могут и оба в один день заглянуть. Подозреваю, что приезжают они вовсе не для того, чтобы проверить, как идут дела. Понятно, как они идут. Им просто нравится поболтать с чудилкой-гуманитарием. Развлекаются они так.

У каждого есть свой излюбленный набор тем. Лысый любит разговоры о политике. При этом предпочитает детективные сюжеты: «А вот Старовойтову кто застрелил, как ты думаешь?» Старовойтова – такая баба из жадной стаи демократов-реформаторов. Ее действительно недавно грохнули в петербургском подъезде.

Отвечаю что-то в духе: помер Максим, да и хрен с ним. Грохнули и грохнули. Кажется, у нее при себе была кошелка с парой миллионов. Так что неудивительно. А может, недостаточно зубаста была, поэтому.

Лысый смотрит на меня проницательно: «Не любишь, значит, демократию?» Пожимаю в ответ плечами. Ну что... Демократия – это хорошо, а вот демократы российские...

Второй приезжает, чтобы выдать очередную историю из своей прошлой жизни. Я для него – что-то вроде исповедника. Не самая приятная роль. Но деваться некуда.

«Знаешь, какие деньги вокруг меня совсем недавно крутились? Лет пять назад была такая контора... ну... пирамида финансовая, как МММ. Я у них там начальником охраны был. Люди глупые свои деньги каждый день несли. Там каждый вечер просто мешки денег в комнате стояли. Ну, эти, конторщики, каждый вечер, не считая, просто брали из мешков. И мне говорили: давай, бери, сейчас в казино махнем. Но я не брал. Ну как же так! Бабульки всякие свои последние деньги принесли. Ну глупые, конечно, сами принесли, отдали. Но я не брал. Я их, ну, этих, охранял. Все честно, по договору. Но денег не брал».

Ему было важно убедить прежде всего себя самого, что он не замазался. И, кажется, не очень-то это у него получалось.

Посторонних в школу пускать запрещено. Но они лезут постоянно. Какие-то армянские юноши, охочие до глупых русских девок. Лезут тупо и настырно. Когда же наконец выгоняешь эту толпу из вестибюля, вдруг оказывается, что один из них, самый наглый и говнистый, все-таки учится в этой школе и выгонять его ты права не имел. Правда, сказать об этом он не мог, поскольку по-русски говорит очень плохо.

Папаша его держит на рынке несколько мясных лотков и подкармливает мясом всю школьную администрацию. «Что вы себе позволяете? Ведь это же дети! Вежливее надо!» Дети... Сами ж терпеть не можете этого ублюдка... Ладно, молчу, киваю.

Приезжает начальник, тот, который мешковатый. Долго стоим с ним на крыльце. «Знаешь, – говорит он, – я вот совсем не националист. Но вот еду тут в автобусе. А со мной рядом двое этих...» Он неловко замолкает, пытаюсь подобрать слово. У него не получается: «Ну черные, короче. И че-то там по-своему балакают. Я им говорю: давайте-ка вы по-русски. Не, я не против, все нормально. Говорите как хотите. Но вот так вот в транспорте. Вот я с ними рядом еду. Я откуда знаю, чего они там говорят? Может, они как раз про меня чего-нибудь нехорошее... Ну и вообще. И они, знаешь, они меня послушались. И вышли на следующей остановке. Короче, я чего... Мягче надо быть. Ладно?»

Постоянно вспоминаю одного своего приятеля. Он работал вышибалой в кабаке – постоянно имел дело как раз с такими клиентами. Отзывался о них примерно так: «Месишь его, и никаких чувств. Вообще».

Как в дерево. Не жалко, вообще не жалко». У меня бы так не получилось, конечно, но я даже попробовать не могу. Строжайше запрещено. Так что куда уж мягче?

Перед самым Новым годом еще скандал. Я пришел утром на смену, а меня – в кабинет к директрисе. А там разложена на столе газетка. «Что это такое?» Что, что? «Лимонка», конечно. В прошлое дежурство на столе забыл. Газета как газета – в киосках свободно продается.

На первой странице – огромный портрет Пол Пота и подпись: «Вот кто нужен России сегодня!» «Как вы могли принести такое в школу?» А что вы прикажете мне читать при такой работе? «Мурзилку»? Так ее не издают уже. И потом, детишки ваши наркоту вон с собой таскают. И ничего.

Срочно примчалось мое начальство. Уже через день я охранял новый объект. «Рассматривай это как повышение», – сказали мне.

Я охранял строительную фирму в Сормове. Одно дежурство в офисе, одно – на стройплощадке. Платят больше, чем за школу. Не так чтобы очень, но все-таки больше. Но елки-палки...

Сормово – не ближний свет, чужой пролетарский район, в котором я отродясь не бывал. До объектов из дома добираться часа полтора. И если б дело было только в этом.

У хозяев офиса жесткие требования: читать на рабочем месте нельзя, музыку слушать нельзя, даже радио нельзя. С обходом ходить некуда – на верхние этажи подниматься запрещено. Вестибюльчик, в котором стоит твой стол, крохотный. Сидишь целый день, тарачишься в стену, как Бодхидхарма в пещере. Только просветления не случается. И даже разговором развлечься не получается: начальники с обходом приезжают в самом конце дня.

Расслабиться можно только вечером, когда директор фирмы и его многочисленные замы отбудут домой. Но они каждый вечер сидят в офисе допоздна – бухают. Каждый вечер! А утром являются ни свет ни заря, бодрые, активные, все из себя деловые. Уму непостижимо.

На стройке лучше. Там большая площадка, обнесенная забором, будка с обогревателем. Можно забиться в нее и читать целый день. Время от времени только нужно выходить открывать ворота подъезжающим машинам.

Все бы хорошо, если бы только не мужики-строители за окном. Смотреть на то, как другие вкалывают, не сильно приятно. Не скажу, что зрелище неэстетичное. Совсем нет. Вкалывают так, что любо-дорого. Хоть сейчас плакат с них пиши. Но...

Совість, что ли, мучает? Не знаю. Они там работают, а ты сидишь в тепле, штаны протираешь. Им наплевать, конечно. Но стыдно, стыдно.

Нет, я, разумеется, не рвался к ним на улицу таскать кирпичи на ветру и под снежной крупой. Я сидел у себя в будке и страдал от собственной никчемности.

Ночью территорию стройки полагалось патрулировать втроем. Подтягивались двое напарников. «Ну че, – сказал мне один в первый же вечер, – пока тут только стены кладут, можно спать спокойно. Вот когда отделочные материалы завозить будут, тогда начнется, полезут. Но это еще не скоро». Он явно хотел поразить мое воображение эпической картинкой обороны, которую нам придется выдержать.

В орды несунув, которые хлынут через забор, чтобы растащить гвозди и пластиковые трубы, поверить было сложно. Но я честно пытался себя заставить. Можно было хоть как-то приглушить комплекс

неполноценности перед мелькавшими целый день перед глазами сварщиками и крановщиками. Типа и я здесь не просто так.

Втроем в будке разместиться можно было только сидя. Спать решительно невозможно. Ночь напролет мы резались в карты. Как-то один из напарников притащил с собой магнитола. Была она разбитая, хрипящая и принимала почему-то только одну станцию «Маяк».

Коллеги разговорного радио не одобряли, но в виде исключения разрешили мне послушать, пока бегают за водкой.

Так я узнал об атаке нацболов на Никиту Михалкова. Случилось резкое потепление. Я стоял на пороге нашей хибарки, с черного неба валили крупные хлопья снега. Из динамиков сквозь шумы и хрипы доносилось: «Группа молодых людей... закидали яйцами... выкрикивали лозунги... возмутительная выходка...» Голос у дикторши был испуганный. Я испытывал радостное возбуждение, буквально слышал, как трещит и рвется ткань этого мерзкого миропорядка. Хрупкий он оказался и уязвимый. Мне было хорошо.

Оборонять стройку от расхитителей не пришлось. Весной у моего начальства случился со строителями конфликт, даже потасовка небольшая была. Я как раз дежурил в офисе – все происходило у меня на глазах. Как всегда, были замешаны деньги. Впрочем, я не вникал. Но когда мой мелкий лысый начальник спустил с лестницы грузную тушку строительного босса, я лысого зауважал. Все посты были сняты в тот же день.

Две недели без работы. Это был хороший повод завязывать. В самом деле. Уже было пора. Но когда мне предложили вновь заступить на пост, я согласился зачем-то. Хотя тут же об этом пожалел.

На улице моего детства был небольшой рыночек в несколько жестяных лоточков. Летом мать часто посылала меня туда купить картошки. С началом рыночных реформ рыночек шумно разогнали. На его месте какие-то восточные люди поставили свои похожие на дзоты ларьки с водкой-пивом. Потом на месте ларьков возник беленький мини-маркет под стеклянной крышей. Вот его-то мне и предстояло охранять.

Мини-маркет на улице моего детства. Прямо напротив дома, в котором все еще проживала особа, которую я бешено вожделем в период подросткового буйства гормонов. На улице, где знакомые попадают на каждом шагу. И тут я у всех на виду, в дурацкой форме и с нелепой дубинкой. Господи, какое же это было унижение.

А тут еще у двоюродной сеструхи состоялась встреча одноклассников, и они зашли в мой мини-маркет отовариться. Один из них долго вглядывался в меня, потом начал улыбаться. Узнал. Я бежал в панике и прятался где-то на задворках. Это был финал. Жирная точка в карьере охранника. Увольнение на следующий день было просто неизбежно.

Редкий ручеек посетителей тек в наш мини-маркет всю ночь. Затишье наступило только часа в три. Я было прикорнул на стуле. Делать вид, что я что-то охраняю, смысла уже не было.

Хихикающая продавщица растолкала меня минут через пятнадцать. «Сейчас постоянный клиент придет, – она постучала по часам на запястье. – Время!» Я не мог понять, чему она так радуется.

Клиент появился где-то около четырех. Одноногий, со вполне себе стивенсоновской деревяшкой вместо протеза, отчетливый хронический алкоголик. Он купил бутылку «Анапы» (тем, кто не пробовал, даже из любопытства пробовать не стоит), вышел и присел на лавочку на остановке напротив мини-маркета. «Смотри, смотри. Он всегда так делает», –

возбужденно затараторила продавщица. Инвалид выпил «Анапу» практически в один глоток, немножко посидел, покачиваясь, и упал. «За-секай, – с неподдельным восторгом продолжала продавщица. – Через десять минут он встанет и уйдет». Видимо, она развлекалась этим представлением постоянно.

Действительно, минут через десять он поднялся, отряхнулся и удалился как ни в чем не бывало.

Таким мне и запомнилось мое последнее утро в качестве охранника. Только-только взошло солнце, зябко. Сквозь витрину виден валяющийся на остановке под лавкой подтекающий алкоголик. Его опирающаяся на лавочку деревянная нога торчит в небо. Напротив через дорогу – ограда бывшего парка имени Ленинского комсомола, ныне гордо называющегося «Парк “Швейцария”». На прутьях ограды, если приглядеться, обнаруживается болтающийся бледно-голубой транспарант с грубо на-малеванным знакомым профилем и текстом: «Уж двести лет как Пушкин с нами!»

Коллеги разработали незамысловатый ритуал: несколько раз на дню собираются с кружками в коридоре у большого окна. Прямо как мэнэ-эсы и итээры советских НИИ. Те, как известно, тоже любили погонять чай на работе. Кое-кто сегодня всерьез утверждает, что это пагубное пристрастие к чаепитиям советскую публику и сгубило.

Что ж, про нас, офисный планктон начала двадцать первого века, вскоре можно будет рассказывать то же самое. Перспективы у нас вряд ли более радужные, чем у безвременно почивших советских. А чаю мы выпиваем уж точно не меньше.

Я тип малообщительный, но когда становится уж совсем невмоготу пялиться в монитор, беру кружку и выползаю в коридор вместе со всеми. Выползаем. А там уже поджидает комендант нашего офис-центра. Он ведет непримиримую борьбу за чистоту пластиковых подоконников, на которых донца чашек оставляют расплывающиеся коричневые кружочки.

Коллеги коменданта побаиваются, хотя на самом деле мужик он беззлобный и безвредный. Дружелюбная перебранка с ним давно уже превратилась в необходимый элемент нашей чайной церемонии.

Стоим. За окном густо валит снег. Хлопья гигантские, сверхъестественных просто размеров, вполне соответствующих представлениям европейцев о русской зиме. «Новогодняя прямо погода», – говорит кто-то. «Да, – соглашаюсь я для поддержания разговора, – действительно».

Хотя какая к черту новогодняя! Конец марта уже. Солнца не было недели две. Пасмурно, промозгло, валит снег. И мы стоим и смотрим на него из окна. И рабочий день в самом разгаре, за половину еще даже не перевалил.

В такие моменты если начнет что-нибудь вспоминаться, то почти всегда из детства. И вовсе не потому, что сейчас все так серо и тоскливо, а тогда было радужно и прекрасно. Мое-то детство во всяком случае на один сплошной сгусток счастья вовсе не походило. Да и вспоминается необязательно что-нибудь хорошее. Школа, например. Вот уж точно никакой радости.

Но тут вдруг вспомнилось, как отец водил меня на детские утренние киносеансы. Как раз по той самой улице, на которую я смотрю сейчас из офисного окна. Одно из лучших воспоминаний, которое только могло прийти. Я очень любил воскресные утренние поездки на трамвае и неспешные прогулки за руку с отцом до кинотеатра. И кинотеатр этот мне нравился как раз потому, что не самый близкий был к дому, что до него надо было ехать, а потом идти. Я и подростком, когда ходил в кино чуть не каждый день, по старой памяти предпочитал его.

Как он назывался? «Спутник»? «Современник»? Прочно забылось.

После сеанса, если в карманах оставалась какая-нибудь мелочь, я любил зайти в книжный или в «Букинист», покопаться в стопке журналов «Техника – молодежи».

Кинотеатр уже давным-давно не кинотеатр, а кегельбан с громким названием «Победа». Мы с коллегами время от времени собираемся туда сходить, но как-то все не соберемся.

И в книжном торгуют чем угодно, только не книгами.

А «Букинист» уцелел и даже процветает. Вон он, тоже виден из нашего окна: огромная вывеска «Антикварная лавка “Нижегородская старина”», дверь по новой моде с тонированными стеклами. Книг внутри, правда, стало поменьше – антикварная рухлядь потеснила, а старых журналов не найдешь теперь вовсе.

В этом «Букинисте» я впервые украл книгу. В начале девяностых, в эпоху первоначального накопления, когда все были одержимы идеей где-нибудь что-нибудь стащить.

Приятель рассказывал про своего старшего брата, который в те времена работал где-то в нефтегазовой сфере. Начальство у всех на глазах, никого особо не стесняясь, хапало миллионами, а ему вот статус не позволял. Так он вынашивал планы умыкнуть хоть какую-нибудь неучтенную хреновину со склада, головку от бура, что ли. Она, впрочем, хоть и не миллионы стоила, но тоже порядочно.

А вот мой друг Павлик мечтал ограбить областную библиотеку. Он был уверен, что в библиотечных запасниках его ждет самая волшебная книга на свете – «Некрономикон». Павлик был большим любителем фильмов о живых мертвецах, вампирах и прочей чертовщине. В одном из них он этот «Некрономикон» и выцепил. «Настоящий должен быть из человеческой кожи сделан, – возбужденно рассказывал он. – Ну, такого у них нет. А бумажный есть! Точняк! Только его не выдают никому». «И зачем он тебе?» – спрашивал я. «Ну как! Ты че! Это ж круто!» Павлику хотелось, чтобы было интересно.

С тем, что происходит вокруг, разобраться толком мы еще не успели. Слишком были заняты драмой закончившегося вдруг детства. Судорожно цеплялись за последние привычные сказки. Сутками просиживали в видеосалонах, прятались в дешевый алкоголь и гитарное бречание, грезили доступными бабами и волшебными книгами. Очередная опоздавшая молодежь.

Десять школьных лет нам вдалбливали: «Любите книгу – источник знаний». Просто задолбали культом печатного слова. Нормальный человек после такого проникается отвращением к чтению раз и навсегда.

А я из той немногочисленной группки идиотов, которые поверили и прирастались. Читали все подряд и без разбора. Но это бы ладно. В конце концов, из этого даже пользу можно научиться извлекать. Это если без фанатизма.

Но я-то я был отравлен дурачкой, путаной книжной мистикой, которую сам же тщательно изобретал. Есть просто книги, интересные и не очень, а есть книги особенные. Это не книги даже, а ключи от всех дверей мира. Прочитаешь, и для тебя станет возможным все. Примерно так мне представлялось. Но эти книги еще нужно было найти.

Павлик хотя бы знал, как называется его волшебная книга. Я же понятия не имел.

По улицам толпами шастали проповедники. РПЦ еще только начинала неуклюже ворочаться, а всевозможные сектанты уже стремились

урвать кусок на новом рынке, шустрили вовсю. Апостолы Марии Дэви Христос и агенты «Аум Синрике», баптисты, мормоны, говорящие с нарочитым акцентом, кришнаиты – карнавал похлеще чем в Рио. Книжки «про духовное» просто раздавали на улицах. Очень быстро их начнут продавать, но поначалу раздавали бесплатно. Народ жадно хватал.

На прилавки в невообразимых количествах вывалили всевозможных меректовских и карсавиных. Религиозная философия входила в моду.

Но все это было явно не то. Ни Библия, ни «Бхаватгита» какая-нибудь, ни уж тем более «Оправдание добра». Слишком назойливо все это предлагалось. Нет уж, спасибо. Не надо.

Первейшая альтернатива была очевидна. Маркс был только что низвергнут с пьедестала и дружно всеми презираем. Значит, за него и нужно было браться. «А ты “Капитал” читал вообще?» – «Ну, читал... Первый том». Я, собственно, и до конца первого тома не добрался. Ощущал себя эдаким красноармейцем-пролетарием, который в промежутках между боями извлекает увесистую потертую книжку и со старательностью начетника водит по строчкам заскорузлым пальцем: «То-вар есть преж-де все-го... преж-де все-го внеш-ний пред-мет... внеш-ний пред-мет...» – никакого чуда в этом не было. Искать надо было где-то в других местах.

И ладно б я один был такой. Нас подобралась целая компания, чтобы морочить друг друга. Обычные разговоры: «Гегеля читать надо с ручкой и тетрадкой, чтобы сразу конспектировать. Сразу же. Иначе не разобраться». Я и тогда еще был уверен, что никто за это не возьмется. Хорошо при свете лампы книжки умные читать, да.

Вокруг каждый второй мечтал если не банкиром заделаться, то по крайней мере ларек открыть. А мы самозабвенно решали, кого круче будет штудировать – Леви-Стросса или Леви-Брюля. Мы делали все, чтобы не преуспеть в этой жизни.

Ассортимент книжных магазинов мы презирали. Он был для нас слишком попов. Я, впрочем, вполне мог себе это позволить: все равно денег у меня почти никогда не было. Я даже пил частенько за чужой счет. Тем не менее по книжным магазинам шлялся, просто поглазеть. А что еще оставалось?

«Букинист» (ведь я об этом уже сказал, да?) был из числа моих любимых. В один из заходов я был поражен, просто убит на месте. Все стеллажи были заставлены академической серией «Литературные памятники». Книг было много, очень много. Они не только на полках стояли, но и на полу лежали стопками.

В стране в очередной раз настало время эмиграций. Перед отъездом люди избавлялись от всего ненужного, от книг в первую очередь. Их старались побыстрее распродать. Но покупателей находилось мало. Для большинства населения книги ценности не представляли, а те, кто все еще мог бы хотеть их купить, были по большей части нищи. Тогда их раздавали знакомым или просто выбрасывали на помойку.

Но «Литературные памятники» на помойке очутиться не могли, разумеется. Несколько дней мы ходили в «Букинист» как на работу, заворожено перебирали строгие зеленые корешки, открывали одну книгу за другой, чтобы взглянуть на цену и разочарованно цокнуть языком. Покупать что-либо особого смысла не было. Забирать надо было все, а это было невозможно.

Мы выходили из магазина и шли за портвейном. В продаже как раз появился напиток с экзотическим названием «Тарибана».

День на третий-четвертый ситуация стала непереносимой, я почувствовал это, когда снимал с полки очередную книгу. Ее непременно нужно было украсть, просто чтобы справиться с шоком. Книжица была мягкая, маленькая, карманного формата. В карман я ее и засунул, даже не посмотрев на название, и в полном ужасе от того, что делаю, на подгибающихся ногах направился к выходу. Наверняка я слишком суетился. Удивительно, что никто не обратил на меня внимания.

Только Лешка Коровашко, который пришел вместе со мной, понял, что я сделал. Он выскочил из магазина, как раз когда я прямо на крыльце извлек книжку и принялся ее разглядывать. Это оказалась «Младшая Эдда».

«Что ж ты делаешь! – прошипел Леха, подхватил меня под локоть и повлек в ближайший двор. – Убери книгу!» Я послушно переставлял ноги, ничего уже толком не соображая.

Дворами мы добежали до остановки. Трамвай как раз подъезжал. Леха втолкнул меня в вагон. Двери закрылись, трамвай звякнул и тронулся. Коровашко шумно выдохнул.

Меня больше не дергали за руку, не тянули, не пихали – я смог наконец-то раскрыть книжку. Она открылась на странице, где Один похищал мед поэзии. «Один украл мед Суттунга!» – возбужденно прокричал я в лицо Коровашко. На меня обернулись все пассажиры. Тетка с ребенком неопределенного пола поспешно отсела подальше. «Мам, он че? Пьяный?» – услышал я. Тетка что-то неразборчиво пробормотала в ответ, опасливо косясь в мою сторону.

Ладно. Повспоминали, и будет. Чай допит. Снег по-прежнему валит. А работа ждет. Надо идти.

Да! А последнюю книжную кражу я совершил не так давно. Из современного магазина с хитрой системой зеркал для наблюдения за покупателями, с камерами и электронной сигнализацией. На обложке крупно было написано: «Сопри эту книгу!» Я не смог этот совет проигнорировать.